

Владимир Гиляровский

Сожженная книга



Часть сборника
Москва и москвичи (сборник)



Москва и москвичи // Эксмо, М., 2008

ISBN: 978-5-699-11515-0

FB2: "shum29 " <au.shum@gmail.com >, 15.11.2008, version 1.0

UUID: 7fe69ee6-04a3-102c-99a2-0288a49f2f10

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Алексеевич Гиляровский

Сожженная книга (Друзья и встречи)

Известный московский журналист, писатель, вступивший в мир литературы вместе с А.П.Чеховым, поэт «некрасовского строя лиры», В.А.Гиляровский (1853–1935) более всего прославился среди современников как знаток и бытописец Москвы. «Дядя Гиляй», как любовно окрестил друга А.П.Чехов, знал родной город наизусть, изъездил его вдоль и поперек. И его знали и любили москвичи (и не только москвичи) всех сословий, его статьями зачитывались, к его мнению прислушивались.

Владимир Гиляровский

Сожженная книга

На Тверской, напротив генерал-губернаторского дворца, стоял четырехэтажный дом Олсуфьева. Ряд надворных флигелей были сплошной трущобой, а в доме на улицу четвертый этаж занимали мебелирашки, известные всей Москве под именем «Чернышей», – комнаты с низкими потолками, с маленькими окнами, с подоконниками на треть метра от полу: чтобы посмотреть в окно, надо было согнуться в три погибели. Этим огромным домом управлял квартальный из бывших городских, состоявший при генерал-губернаторе князе В. А. Долгорукове для личных услуг. Полиция перед ним трепетала и не смела сунуть носа в Олсуфьевскую крепость – ни в ее трущобы, ни в мебелирашки «Черныши», которые десятки лет содержала старуха Чернышева. Управляющий не интересовался, кто и как в них живет, вполне полагаясь на «Чернышиху», крестившую с десятков его детей, причем каждому своему крестнику она клала на «зубок» по выигрышному сторублевому билету. И хозяйка оправдывала доверие: в мебелирашках всегда было тихо, ни шума, ни скандалов, – половина жильцов была не прописана.

В семидесятых-восемидесятых годах там останавливались и подолгу проживали отцы и деды нашей революции.

В эти годы самый большой номер, в две комнаты, занимал М. И. Орфанов-Мишля, бывший судебный следователь по должности, ярый народник-шестидесятник и автор «Сибирских рассказов», запрещенных для библиотек. Роста он был огромного, сложения богатырского, темная борода в полгруды, по-видимому, никогда не ведала ножниц, а косматая грива подстригалась раз-два в год.

В номере рядом с ним жил его друг Вася Васильев, провинциальный актер, служивший в то время в Москве, в театре А. А. Бренко, мой старый товарищ по сцене; сам он был крошечный, лицо с кулачок, бритое по-актерски, густые брови и черные курчавые волосы – родовое наследство по мужской линии.

Отец его был кантонист, по фамилии Шведвенгер, родом откуда-то с Волыни. В аракчеевские времена там забирали еврейских мальчиков от родителей, крестили их и в кантонистских школах воспитывали из них солдат.

Разъезжали фуры по еврейским поселкам, ловили ребятшек и навсегда увозили от родителей. При крещении им давали имя и фамилию большей частью по крестному отцу, а отец с матерью даже не знали, где находится их ребенок.

И Мишла и Вася были прописаны: один – по указу об отставке, другой – по паспорту клинского мещанина Василия Васильевича Васильева. Проживал мещанин Васильев по этому документу столько лет, сколько искала полиция солдатского сына Шведевенгера, разыскиваемого по делу Питерской коммуны в Эртелевом переулке и по другому делу, связанному с арестом Н. Г. Чернышевского. Потом он был арестован еще по делу 193-х, но как-то ухитрился удрать, и на место Шведевенгера выплыл актер Васильев.

В номере Мишла стояли две кровати и диван вроде тургеневского «самосона», поперек которого могло в ряд улечься пятеро, что иногда и бывало. В номере Васи тоже стояли две кровати и диван поменьше и тоже не пустовали. Эти два номера были явками для народников и местом их ночлега. Два номера на-

против занимали: один – студент Ершов, а другой – хористка Попова, знакомая Гриши Орденсона, торговца книгами, который время от времени, проездом через Москву «с товаром», останавливался у нее. Часть багажа он обычно по приезде отдавал Васе, а остальное вез дальше, главным образом в Воронеж, где у его жены был домишко. Вася распаковывал багаж и раздавал его по назначению в Москве. По большей части это были книжки и брошюры на тонкой бумаге для рабочих на фабриках и заводах, а иногда увесистая пачка «Народной воли».

Ночевали у Мишля и Васи разные лица. И раз в номере последнего целый месяц спокойно прожил П. Г. Зайчневский, удравший из ссылки. Не раз ночевал и я.

Как-то утром зашел к нам Мишля. В одной рубаше и в резиновых огромных калошах на босу ногу. А мы только что встали и пили чай.

– Сегодня в час приходите ко мне завтракать. Будут Нефедов, Приклонский и Глеб Иванович. Он вчера приехал из Питера и сейчас еще спит у меня. Я хочу прочитать новый

сибирский очерк. Ну, так приходите. А я побегу к Генералову за закусками. Предупреждаю, водки не будет. Только пиво. Хочется серьезно прочитаться.

Я немного опоздал, и, когда пришел, чтение уже началось. Не желая мешать, я сделал общий поклон и сел в сторонке. Меня с улыбкой дружеским жестом приветствовал Мишла и поклонились остальные. В первый раз я тогда увидел писателей, и сразу четырех.

На диване-самосоне сидел гигант Мишла и читал. Справа от него, вытянув во всю длину короткие ножонки, приютился у спинки маленький Вася. Он, задрав голову, смотрел на чтеца, как мышь на колокольню. Слева устроился сумрачный Нефедов, с его лысой головы наполовину сполз косматый, грубо сделанный парик. Напротив, на стуле, сидел Глеб Иванович Успенский, внимательно слушая. Он глубокомысленно резал ломтики сыра и запивал их маленькими глотками пива.

С. А. Приклонский, автор книги «Год на севере», стройный и красивый, с лицом, еще обвеянным недавними полярными бурями Ледовитого океана, курил папиросу за папирос-

сой, то и дело стряхивая пепел с вьющейся русой бороды.

– Два года табаку не видал! Курили с помо-рами мох да торф, – говорил он обыкновенно, как бы извиняясь, когда запуская пальцы в портсигар соседа.

В молчании слушали все интересный рассказ из осторожной жизни.

На половине тетради чтец остановился:

– Дайте отдохнуть. Пожалуйста пока заку-сить. Наливайте пива.

Завтрак был сервирован на столе, с листом газеты «Русских ведомостей», только что по-данным и пахнувшим краской, вместо ска-терти: полковриги ситного, филипповские ка-лачи, головка голландского сыра и три варе-ных колбасы во всей своей неприкосновенно-сти.

– Ну-с, режьте и ешьте!

Тогда-то Мишла представил меня обще-ству, назвав по фамилии.

– Друг Василия Васильевича. Вместе рабо-тают.

Меня приняли очень любезно: рекоменда-ция была солидная.

Принялись резать колбасу, наливать пиво, батарея бутылок которого стояла на окне.

– Колбаса великолепная, еще совсем горячая!.. У нас в Петербурге такой нет. Каждый раз в гостинец привожу ее из Москвы от Генералова, – сказал Глеб Иванович.

И тут вдруг громко захохотал, поперхнулся и прыснул пивом на всех нас Приклонский.

– Ты чего ржешь? Что с тобой? – улыбнулся Мишля.

– Ха-ха-ха! Генераловская! – заливался Приклонский.

– Да в чем дело?

– В чем? Вернулся после двух лет отсутствия вчера в Москву. Иду по Тверской, все так же, как и прежде было... Тот же двухэтажный желтый дом Филиппова... Тот же золотой калач над дверью висит... Рядом та же гостиница Шевалдышева. Дальше та же самая голубая, с огромными золотыми буквами вывеска над гастрономическим магазином: «Генералов». Как раз над ней такого же размера другая старая вывеска – «Фотография», – ну, словом, все, как и было... Издали только и видны эти две крупные надписи: «Фотогра-

фия»... «Генералов». Читаю, да как расхохотусь на всю улицу! Народ останавливается, а я гляжу, оторваться не могу. Гляжу и хохочу. Читаю вслух «Фотография» и «Генералов» – и хохочу.

«Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Давно ль на сей земле? Да что с вами?» – подает мне кто-то руку. Гляжу – мой защитник Плевако.

«Здравствуйте, Федор Никифорович! Да вы гладите, читайте», – указал я на противоположную стену.

«Ну фотография, ну Генералов, ну...»

Вдруг его скуластое лицо расплылось в улыбку. Засмеялись киргизские раскосые глаза, и грянул хохот на всю улицу.

Образовалась толпа. Подходят знакомые, здороваются с Плевако. Спрашивают, что такое, а он поднимает обе руки, одним пальцем показывает на одну вывеску, другим – на другую. Все читают и хохочут, глядя на две большие золоченые свиные головы, рельефно выдающиеся посреди стены, как раз между вывесками: «Фотография» – «Генералов».

Приклонский хохотал, мы все ему вторили. И ведь тоже только сейчас вспомнили про

эти головы. Никому в голову не приходило. У Глеба Ивановича слезы на глазах выступили от хохота.

– Ведь каждый раз захожу к Генералову за колбасой, каждый раз, когда мимо иду, вижу эти две курносые свиные головы, каждый раз невольно читаю вывески – и никогда не мог и подумать, что это фотография генералов!.. Вот как мы, российские обыватели, запуганы генералами.

В этот день больше не читали.

Это была моя первая встреча с Глебом Ивановичем Успенским.

Прошли годы. Я уже был женат. Мы встретились снова с Глебом Ивановичем в «Русских ведомостях».

Глеб Иванович Успенский очень любил щи с головизной и московские расстегаи с рыбой и вязигой, а потому каждый его приезд в Москву мы отправлялись небольшой компанией прямо из редакции в Черкасский переулок, к «Арсентьичу». Так звали не совсем первоклассный, но сытный трактир, славившийся рыбными блюдами. Впоследствии, когда мы подружились, он не раз обедал у ме-

ня, и жена угощала его борщом и ватрушками или щами с головизной и рыбной кулебякой.

Мы обедали втроем, и после обеда, за стаканом вина, он каждый раз просил меня прочитать «Стеньку Разина». Сцена с палачом всегда вызывала у него слезу на глаза, и он, впечатлительный и нервный, говорил при этом жене:

— Мария Ивановна! Как вы не боялись выйти за него замуж? Ведь он Стенька Разин! Только Стенька Разин так и мог про себя написать.

В один из таких обедов в моей скромной квартирке, в доме Лавровой в Хлыновском тупике, за стаканом самодава, привезенного мне моим приятелем с Дона, я разболтался, стал рассказывать о белильном заводе Сорочкина в Ярославле, о чем никогда никому не говорил. Глеб Иванович засыпал меня вопросами, а я в ответ принес ему очерк из рабочей жизни «Обреченные», который лежал у меня, начисто переписанный, но отдавать его в печать я даже не мечтал и никому, кроме своей жены, не читал.

Набросан он был еще в 1874 году на Волге, между Ярославлем и Нижним, когда я с белильного завода пробирался в Астрахань на вольные ватаги.

Из Нижнего я отослал это мое первое произведение отцу, и только в 1883 году, уже твердо вступив на литературный путь, я взял у отца эти листы бумаги, исписанные карандашом, и впоследствии в свободное время их отделявал, переписывал, но все еще не решился печатать именно этот очерк.

И великая радость охватила меня, когда Глеб Иванович, прослушав весь большой очерк, не перебивая, с влажными от волнения глазами, сказал:

– Ведь это золото! Чего ты свои репортерские заметки лупишь. Ведь ты из глубины вышел, где никто не бывал, пиши, пиши очерки жизни! Пиши, что видел...

И целый час он говорил, говорил, заставлял перечитывать отдельные строки, выражения, целые сцены...

Незабвенно говорил, а мы незабвенно, в восторге слушали, и я рос в своих глазах.

– Нет, ты сообрази... Ведь ты показал такой

ад, откуда возврата нет... Приходят умирать, чтобы хозяин мошну набивал, и сознают это и умирают тут же. Этого до тебя еще никто не сказал. А это будет. Другого исхода нет.

Мы просидели целый вечер у меня. Он расспрашивал подробности, мелочи и то и дело говорил:

– Этого у тебя нет. Запиши! Вставь! Сегодня ты перепиши и завтра принеси в редакцию. В четыре часа я буду там.

Когда я на следующий день пришел в редакцию «Русских ведомостей», В. М. Соболевский меня уже ждал, сидя за своим редакторским столом, а Глеб Иванович тут же вычитывал свою корректуру.

В этот вечер я исполнил просьбу Успенского – сводил его на Хитровку. Он пришел в ужас от обстановки и далее разбойничьего трактира «Каторга» отказался идти. С Хитровки мы вместе поехали в типографию «Русских ведомостей», где я сдал срочные заметки и, к величайшей моей радости, увидел гранки набранных уже «Обреченных». Это была моя первая крупная работа в «Русских ведомостях» за подписью.

Я печатал уже давно рассказы и очерки в газетах и журналах, но не рисковал дать в «Русские ведомости», где «подвалы» занимались корифеями. Этим моим выступлением в профессорской газете я обязан Глебу Ивановичу и затем ему же обязан еще большим: он меня спас от тюрьмы, а может быть, и от Сибири, а пока упрочил мое положение в «Русских ведомостях».

Собрал я пятнадцать рассказов, разбросанных в разных изданиях за эти годы: вышло больше десяти листов; дал заглавие «Трущобные люди» и напечатал в типографии братьев Вернер, на Арбате, книжку в двести сорок страниц.

Это была первая моя книга!

С трепетом сердца, почти священнодействуя, я читал корректуру и в гранках, и уже в листах, и, наконец, когда все было отпечатано, я получил в листах один экземпляр, а другой, сброшюрованный, был отправлен цензуре.

Совершенно спокойный, надеясь, что на книге кой-что заработаю, взял я аванс в редакции, занял, кроме того, сто рублей для

уплаты типографии в счет трехсот рублей и ждал с нетерпением выпуска книги. Она еще лежала в листах, запертая на замке в кладовой типографии. Второго экземпляра, несмотря на мои усиленные просьбы, мне не выдали.

– Подождите, получим от цензора, начнем брошюровать, тогда и дадим сколько угодно.

Прихожу на другой день, 17 ноября, в типографию. Евгений Вернер, переводчик и редактор «Сверчка», встречает меня с лицом встревоженным.

– Гиляй, твою книгу арестовали. Ночью приехал инспектор по делам печати, обыскал типографию и буквально все, до последнего листа твоей книги, арестовал, увез и набор велел при себе рассыпать. У самих ни гранки не осталось. И оригинал взял!

Я чувствовал себя убитым. Бросился к председателю цензурного комитета – старому-старому Федорову.

– Уж ежели арестовали – значит, хороша книга. Зря не арестуют. В Петербург уже для соответствующего распоряжения отправили экземпляр.

И больше разговаривать не стал.

Посоветовали мне поехать в Петербург, в главное управление по делам печати, куда был послан вместе с книгой и мотивированный доклад цензора. Что было в докладе, я так и не узнал, ибо это в цензурном комитете считалось величайшей государственной тайной.

А я весь в долгу, и выпуск книги для меня был все.

Поехал в Петербург. Являюсь в цензурный комитет и наталкиваюсь на секретаря С. И. Назаревского, которому рисую мое горе. Он деликатно объясняет, что едва ли я получу разрешение на выпуск книги, что она уже с неблагоприятным для меня заключением главного управления рассматривается в комитете министров.

– По всей вероятности, не дозволят выпустить в свет!

– Что же делать? Мне советовали подать прошение начальнику главного управления Феоктистову.

– Подайте... для очищения совести... Только едва ли... Завтра в два часа подайте лично

начальнику.

Прихожу на другой день в два часа с прошением о пересмотре книги и разрешении ее. Прошу курьера доложить, сшибая с него важность рублевой бумажкой.

– Сейчас доложу... Только их превосходительство сегодня не в духе... Подождите.

Доложили. Вхожу. Солидный чиновник один шагает по кабинету. Увидал меня и, наклонив голову, подходит. Рекомендуюсь, подаю прошение.

– Что это? Прощение?

– Да.

Берет. Смотрит.

– А марки? Марки где, я говорю?!

– Марки я наклею... Только, пожалуйста, не откажите выслушать.

– Без марок прошение не подают... Извольте наклеить марки...

Я стоял молча, растерянный.

– Идите же... Приложите марки и передайте прошение в канцелярию.

Я продолжаю стоять.

– Извольте идти, я кончил. – И, нагнув еще больше шею, повернулся ко мне задом.

Пока я в канцелярии наклеивал марки, оказалось, что Феоктистов уже ушел. Прощение мне пришлось подать его помощнику Адикаевскому.

Это страшное, тупое существо в вицмундире приняло меня весьма сурово и заявило, что оно знакомо с моей книгой и с заключением цензурного комитета об ее уничтожении вполне согласно.

– Там описание трущоб в самых мрачных тонах, там, наконец, выведены вами военные в неприглядном и оскорбительном виде... Бродяги какие-то... Мрак непроглядный... Нда-с, молодой человек, так писать нельзя-с... Из ваших хлопот ничего не выйдет... Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка.

– Там все правда! – возразил я.

– Вот за правду и запретили. Такую правду писать нельзя. Напрасно хлопотали и марки на прошение наклеивали... Марки денег стоят-с... Уезжайте в свою Москву, вас уведомят, – он повернулся и ушел. Ничего не понимая, спускаюсь по широкой лестнице с пятого

этажа цензурного комитета.

Свежий воздух на улице привел меня в себя – и первая мысль в голове: «Как это я не побил морду Адикаевскому?»

А кулаки уж свинцом налились. Стою, как добрый молодец на распутье.

Передо мной в этот миг выросли двое друзей: богатырская фигура седого старика и Глеб Иванович Успенский.

– Ты как здесь?... Вот рад! – воскликнул Глеб Иванович.

– Здравствуй, Гиляй!.. – меня облапил и целует старик.

Тут только я узнал его. Это был Аполлон Николаевич Алифатов, управляющий конным заводом Орлова.

А Глеб Иванович глаза вытаращил:

– Да разве вы знакомы? Аполлон, ты знаешь его?

– Ну вот еще! Наш брат – лошадник.

Мы стояли на тротуаре, я подробно рассказывал свое горе и закончил:

– Вот и жду! Как выйдет Адикаевский – морду в ключья, ребра переломаю. А завтра Феоктистова изувечу!

И оба в один голос:

– Что?! Да ты обезумел! Попадешь в тюрьму – и прямо в Сибирь! А им только по ордену дадут в утешение.

– Все равно, прежде я их награжу...

Друзья взяли меня под руку, а я уперся:

– Никуда не пойду.

Алифатов старается:

– Нешто его, быка, сдвинешь!.. Ну!

Рванули и повели. Я послушно пошел.

– Да ты подумай только, как, например, Феоктистова бить... Он уж так побит, что сам не свой ходит. Вот что про него Минаев написал:

Островский [1] Феоктистову

*Затем рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал!*

– Ну, черт с ним! Адикаевского изувечу

И это глупо. Из-за мерзавца и себя и семью губить... А на кого семья останется? А где Успенский будет борщ с ватрушками есть? А?

Алифатов все время смотрел на меня, качал головой и повторял:

– Вот дура, вот дура некованая. Вспомни: Адикаевский! Набьешь ему морду, попадешь к жандармам в ад и будешь каяться.

Мы все трое засмеялись и пошли. Пересекли Невский и зашли в мебелирашки у Аничкова моста, к Алифатову, где случайно остановился и я. На столе была икра, сыр, колбаса и бутылка красного вина. Закусили и выпили. Много говорили, и, наконец, Глеб Иванович убедил меня, что после такого ответа ждать нечего.

– Все равно книгу сожгут наверное, а это большая честь: первая твоя книга – и сожгли! А скандалить будешь – вышлют. Схватят вот так, как мы с Алифатовым тебя тащили, да и поведут. А там начальство грозное в синем мундире сидит, а рядом жандарм здоровеннейший... И скажет тебе начальство... Ты только вообрази, что вот я, Глеб Успенский, генерал, а он – жандарм.

Алифатов встает, вытягивается во фронт, руку под козырек:

– Так точно, васкобродие!..

– Взять этого смутьяна в кибитку – и прямо в Сибирь! Ты мне головой отвечаешь за него!

Понял?

– Так точно, васкобродие... Предоставим, васкобродие...

И лица у обоих серьезные, и вдруг мы все расхохотались, и всем нам стало весело...

Вечер мы провели у Глеба Ивановича, на Васильевском острове, проужинали до рассвета, а на другой день с почтовым увез меня Алифатов в Москву. С этого дня у нас с Глебом Ивановичем установилось навсегда дружеское «ты».

В Москву я вернулся успокоенным и даже с некоторой гордостью: автор запрещенной книги!

Сочувственно отнеслись ко мне все товарищи по «Русским ведомостям», а горячее всех – наборщики, всегда мои лучшие и самые близкие друзья.

В Москве заговорили обо мне и о моей книге, которая, невиданная, сделалась всем интересна, но я упорно никому ее не показывал. Она в хорошем переплете хранилась у жены, которой я и подарил этот единственный экземпляр.

Славы было у меня много, а дома денег ни

копья. Долги душили. Я усиленно работал, кроме «Русских ведомостей», под всевозможными псевдонимами всюду: и стихи, и проза, и подписи для карикатур. Запрашивал цензурный комитет, но всегда один ответ: запрещена безусловно.

Встречаю как-то в ресторане Тестова издателя «Московского листка» Н. И. Пастухова.

– Главного инспектора сегодня утром видел. Поехал в часть твою книгу жечь... Только смотри, это страшный секрет.

– Как жечь? Отчего же меня не уведомили?

– А вот сожгут, и не узнаешь. Я сказал сегодня инспектору, что вообще книги жечь очень глупо.

– Конечно, глупо! – обрадовался я такому либеральному взгляду у редактора «Московского листка».

– И даже очень! Какая польза от того и кому? Надо запрещенные книги не жечь, а изрезать и продавать на фабрику в бумажную массу. Ведь это денег стоит! Инспектор поблагодарил меня, хочет проект внести об этом.

– А в какой части жгут мою книгу?

– В Суцевской. Только, гляди, меня не под-

веди.

Через несколько минут лихач домчал меня до Суцевской части. С заднего двора поднимался дым. Там, около садика, толпа пожарных и мальчишек. Снег кругом был покрыт сажей и клочками бумаги. В печи догорала последняя куча бумаги: ее шевелил кочергой пожарный. Пахло гарью и керосином, которым пропитался снег около печи... Начальственных лиц – никого: уже все разъехались. Обращаюсь к пожарным, спрашиваю по знакомству, что жгут.

– Книгу какую-то запрещенную... Да и не книгу, а листы из типографии... Вот остатки догорают... И что за книга – никто не знает. Один листок только попал, на сигарки взяли, да и то не годится: бумага толста.

Я взял у пожарных этот единственный измятый лист с оторванным на курево уголком. Читаю: «Вл. Гиляровский. Трущобные люди». Всего в моих руках оказалось восемь страниц, и я до сего времени берегу эту реликвию. Я после узнал, что проект инспектора по делам печати был принят, он получил награду, и после моей книги уж ни одной в Москве не бы-

ло сожжено: резали на полосы и посылали на бумажную фабрику. Железная печь была заброшена в пожарный сарай, и только во время революции 1905 года ее извлекли пожарные-кузнецы и перековали на свои надобности.

А мне осталось утешение, что последней сожженной книгой в Москве была моя!

Примечания

М. Н. Островский – брат писателя, министр государственных имуществ.

[^^^]